А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра — случайной пулей, послезавтра — оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все — кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:

— Рожайте, Эля. Роды — великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съежился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид — краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

— Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена…

…О, как я жалею, что я — не живописец! Я бы непременно написал серое небо, и мокрое кладбище, и свежевырытую могилу, и калеку-краснознаменца. И — женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих — всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена…

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой… Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человечной и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы — таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, впрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов — хлор, фосген, хлорпикрин, иприт — присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

— Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

— А дома у него — деревянный топчан и книги, — тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. — И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности

Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.